СОДЕРЖАНИЕ

Предуведомление 7
Постоянная переменная 10
Люди знания 18
Homo postulans — Человек вопрошающий 38
Откуда мы? 38
Просвещение, или Миром правит мнение 39
Дух, или Интеллигенция как мировая сила . . . 82
Мозг нации,
или Речь о так называемой интеллигенции 112
Не мозг нации. Дядя Ваня и бесы 141
Кто мы? 179
Новая элита 188
Средний класс: золотая середина 210
Что делать? 253
Интеллигенция или интеллигенции? 286
Слова, места и вещи 306
Пространство знания и интеллигентская среда . . . 310
Контркультура 330
Книги 347
Очки 356
Шляпа 359
Запахи и вкусы 363
Итоги. Скучная история 375
Благодарности 381
Словарикъ общеупотребительныхъ словъ 383
Библіотечка самообразованія 385

Eh bien, mon prince, начнем с начала — со слова, вернее, слов. Слова в истории давно перестали считаться простым «отражением реальности». В виде ключевых понятий или концептов они стали основным предметом исследования исторической семантики и организующим элементом социальной и культурной истории. Слова в нашем случае — пусть не золотая рыбка, но нить в лабиринтах «мира мысли». Именно она обозначает нерв истории интеллигенции, в сравнении с которым мнимые видимости социальных реалий, выраженные в неизбежно фрагментарных таблицах и графиках, кажутся эфемерными. Посему прочие истории (культурная, социальная и — особенно — история идей) будут примыкать на правах важного, но контекста. Конечно, совсем без того, о чем думала и во что верила интеллигенция, не обойтись, но акцент будет поставлен не на *что*, а на *как*.

Что ж, устраивайся поудобней, дружок, будет не только много слов, но и много слов о словах. Очевидно, что интеллигенция обладает исключительными в сравнении с другими слоями и группами возможностями словесного самовыражения. «Открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир... и, если я говорил „я“, это значило — я, который пишу», — мог повторить вслед за Жан-Полем Сартром любой интеллигент. «Слова», высказанные теми, кого в Средневековье называли «продавцами слов» (*venditores verborum*), служат не только для самоописания. Ими пишутся и другие истории менее «выразительных»

и «бессловесных» групп, да и в общем История с большой буквы. Они, слова, и в основе миссии интеллигенции: «Глаголом жги!»

Словесная зависимость таит в себе проблему частичной, а порой и полной непереводимости поразному зафиксированного в разных культурах исторического опыта. Даже учитывая широкое заимствование культурами друг у друга концептов и постоянных взаимодействий между ними, трудно ускользнуть из «сада недоразумений» с его «словарем-обманщиком». Где *professeur* Сорбонны — это не немецкий *Professor*, польская *kultura* или русская *культура* — не немецкая *Kultur* и не французская *culture*, а *Bildung* (образование) в немецком или, скажем, *mind* в английском вообще не поддаются адекватному переводу. Недоразумения потерянного в переводе усугубляются разностью культурных традиций и резкими сдвигами в них. Петровская Россия глотала новую пищу для ума в спешке, не переваривая: иностранную мысль часто заимствовали вместе со словом, не стараясь найти русские эквиваленты. И лишь впоследствии язык решал, к чему он не привык, что облекать в родную речь, а чем («панталоны, фрак, жилет») возможно пренебречь. То, что русская *интеллигенция* осталась в ряду вестернизмов, конечно, так же неслучайно, как, например, приключения европейской *науки* в Китае: варианты перевода этого понятия в конфуцианской стране настолько расходились с оригиналом, что наиболее последовательные «западники» предпочитали говорить *saiyinsi*, имитируя *science*.

Так что и слова собственного языка в историческом измерении представляют собой зыбкую почву. Лексикона интеллигенции это касается в первую очередь, поскольку его ядро составляют сложные и отвлеченные понятия, необходимые в истолковании мира. Для их формирования требуется время, совпадающее с временем становления общества Нового времени и его самосознания. Фокус долгое время плавает, формулировки зависят от контекста и личных предпочтений авторов, отражают разные культурные влияния и традиции. Не случайно русский реформатор М.М. Сперанский в начале XIX века, прежде чем приступить к переменам, желает упорядочить язык, «чтобы к одним словам привязывать всегда одно и то же понятие».

Пока же разные социальные группы в России XVIII–XIX веков говорят на разных языках не только в буквальном смысле, имея в виду французский и немецкий у дворян. Вроде бы в одном и том же русском языке *просвещение* в религиозном смысле отлично от светского употребления. То же с разницей между языком культурного слоя и массами. К примеру, *пошлый* — важное слово интеллигентского лексикона: когда Иван IV, сватаясь за английскую королеву Елизавету I, пишет ей (1570): «Ты пребываеш в своем девическом чину как есть пошлая девица», ничего пахнущего дипломатическим скандалом Грозный не подразумевает, имеется в виду «действительная», «настоящая». В народном употреблении еще в 1880-х годах *пошлая девка* в словаре Даля

отсылает к «дошлый, зрелый, возмужалый, во всех годах» — в общем, ничего предосудительного. Так же, как «пошлый мадригал», который Онегин шептал Ольге, подразумевал лишь заурядность, а не скабрезность. Тогда как нарождавшаяся накануне великих реформ интеллигенция уже стояла на пороге столетней войны с *пошлостью* вполне в «нашем» смысле.

Понятия не только «отражают действительность», но и формируют ее. *Интеллигенция* после 1917 года — хороший пример: сам слой как социальная реальность к концу 1920-х годов практически перестал существовать физически, во всяком случае в границах СССР. Слово вместе с прочими *офицерами, камергерами, благотворительностью* помечается в советских словарях как «устар.». Однако с реабилитацией *интеллигенции* с середины 1930-х и возрождением в качестве классического канона русской культуры XIX века вокруг слова нарастают утраченные было культурные нормы. И люди, которые выбирают *интеллигенцию* в качестве самоидентификации, ориентируются на смыслы, заложенные «до того, как случилось то, что случилось» (изящное определение 1917 года Анны Ахматовой).

Итак, далее по тексту мы будем особо оговаривать, как, откуда и какие ключевые понятия в русском интеллигентском словаре появляются или меняют свое значение, как формируется лексикон и становится общенациональным. Тут, разумеется, не обойтись без избирательности и этого, как его, волюнтаризма: мы сосредоточимся только на словах, связанных с оформлением самосознания образованного слоя и его места

в обществе, оставляя в стороне собственно философские понятия — даже такие, скажем, как *правда*, *истина* или *справедливость* (исключение сделаем разве что для *свободы* — см. сборники Н. С. Плотникова в Библіотечке).

Важно показать взаимные пересечения смыслов и форм между языками и культурами. Дополнительный бонус в том, что солидный задел истории понятий, в том числе русских, принадлежит зарубежным, прежде всего немецким, исследованиям, и посмотреть на историю интеллигенции через эту призму значит уже увидеть ее другими глазами и под иным ракурсом. То есть опять-таки через дистанцию и «остранение»: «Знаешь: потолок, па-та-лок, pas ta loque, патолог, — и так далее, — пока „потолок“ не становится совершенно чужим и одичалым, как „локотоп“ или „покотол“. Я думаю, что *когда-нибудь* со всей жизнью так будет».

Историки французские характеризуют интеллигенцию как *classeur inclassable*, что в вольном переводе подразумевает: раздающий имена не имеет имени. Неудивительно отсюда, что терминология мира мысли, по словам французского историка Жака Ле Гоффа, «никогда не отличалась определенностью». Уже Вольтер и Фонвизин пишут о туманности того, что подразумевают *ум* или *esprit*. Интеллигентские сообщества нередко названы со стороны. Французские «интеллектуалы», например, или русские «нигилисты», а до того «западники» и «славянофилы» — всё бранчливые словечки, пущенные в обиход их

противниками и подразумевавшие сарказм. Часто авторство принадлежит государству, которое заинтересовано в четкой классификации общества. Так, безалаберные французские просветители в рапортах парижской полиции, исследованных Робертом Дарнтоном, именуются «ребятами» (*garçons*). В государстве сословий и чинов русская интеллигенция зачисляется в «разночинцы» — что, по сути, рубрика «остальное». В буржуазный век по всей Европе образованную элиту числят как составную часть «третьего элемента» или «среднего класса», в век масс именуют «прослойкой» между классами. Однако слова, относящиеся к собственной идентичности (самосознанию) этих людей, всегда привязаны к их главному социальному капиталу — знанию.

Добрались наконец до «Знайки» в заглавии. Помилуйте, да в ком лучше персонифицирована интеллигенция, как не в нем? Мозг и чувствилище Цветочного города. Взыскующий кампанелловского Солнечного Града (*Civitas Solis*), провозвестник «момента, когда солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого господина, кроме своего разума» из философских грез г-на Кондорсе. Знающий себе цену, иногда заносчивый и нудный, но в общем мудро и отечески снисходящий к слабостям коротышек. Просветитель незнаек, вдохновитель и организатор масс, духовный лидер творческой интеллигенции (Тюбика и Гусли), земской медицины (Пилюлькина) и ИТР в лице Винтика и Шпунтика. Способный

посрамить по экспертному знанию в научной дискуссии академика и ординарного профессора (Звездочкина), Знайка — представитель свободных профессий, фрилансер. Он пилюет на суету с высоты своей полной книг башни из слоновой кости по улице Колокольчиков. Чтобы у знаек появилась миссия, нужны две вещи — новое знание и социум, где это знание находит применение.

Здесь мы рискуем провалиться в глубины дефиниций того, что есть *знание*. Примем пока на веру, что различия в роде знания второстепенны. Понятно, что оно социально обусловлено. Понятно, что оно может быть либо формализованным (сертифицировано, подтверждено дипломами, аттестатами и институционализировано) — и именуется тогда образованием, либо неформальным. Оно может быть утилитарным, бытовым (знание-как, *savoire-faire*) или академическим, интеллектуальным (знание-что); оно включает и ученость, и словесность.

Ключевой момент в том, что знание в сегодняшнем понимании, так же, как его прикладное развитие в образовании или науке, следует понимать как продукт исторического развития. Возникновение нового образа мышления в Западной Европе начиная с дальних подступов «схоластической революции» XII–XIII веков создает новый тип «человека познающего», как его назвал немецкий социолог Роберт Михельс, или «человека знания», по терминологии поляка Флориана Знанецкого. Это возможно только там, где мысль становится сущностной основой жизни личности (*cogito*

ergo sum, мыслю — следовательно существую), и где для внешнего мира эта мысль признается реальной силой или властью (*knowledge is power*).

Обе цитаты, принадлежащие Рене Декарту и Фрэнсису Бэкону, поворачивают стрелку на Европу раннего Нового времени. Сначала в недрах европейского Средневековья происходят революции тихие, возникает социальная ткань городской жизни, университетские, профессиональные корпорации. У знания как категории нравственной — различения Добра и Зла, *scientes bonum et malum* ветхозаветной Книги Бытия — появляется нескромная компаньонка, воскрешающая Античность: любознательность, дух наблюдения и исследования. Грядущие в России с Петром I перемены маркированы головокружительной карьерой понятия *любопытство*. Неудержимое любопытство отличает самого реформатора: одно из самых распространенных выражений в дневнике Великого посольства в Европу с участием будущего императора в 1697–1698 годах — «зело дивно!» При Петре *любопытство* обрастает производными и попутчиками: заявляют о своих правах *курьез*, *интерес*, *остроумие* (К. А. Богданов). Как окончательная печать перемен, наряду с «Сапиенцией» (Мудростью) и «Циенцией» (Наукой) петербургскую Кунсткамеру венчают скульптуры «Адмирациса» (Удивления) — и «Куриозитаса» (Любопытства).

Перемены в сфере познания заявляют о себе затем как культурные и социальные перевороты Ренессанса и Реформации, а потом и политические

революции, возникает феномен модерного общества. Знание приобретает в нем не только утилитарные функции, но лежит в основании новых социальных механизмов, присваивает себе роль творца общества. Знание-как вырастает в просто Знание, так же, как искусство-умение вырастает в Искусство, каким его знаем мы,— отмечал для XVII века историк Мишель де Серто. Неслучайно и слово *intellectuals* (интеллектуалы) в этом же XVII веке впервые выходит из-под пера Фрэнсиса Бэкона.

Меняется направленность знания: не «о чем», а «для чего». Такое знание охватывает «тот конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который с точки зрения человека обладает смыслом и значением». Роль же «людей культуры»,— продолжим цитату Макса Вебера,— в том, что они призваны «сознательно занять определенную *позицию* по отношению к миру и придать ему *смысл* (курсив в оригинале.—*Д. С.*)».

Придать миру смысл — ясно очерченная миссия. В наступившей после вопроса «Что есть истина?» тишине в классе человек знания должен не молчать, а поднять руку и ответить громко и четко по существу. Понятия — ключевая часть этого ответа. В понятии «фрагмент мировой бесконечности» зафиксирован, *схвачен*, или даже так: им *завладели* — согласно с этимологией самого слова *понятие*, родственного с «взять», «иметь», в том числе в чувственном смысле, как и в немецком *Be-griff* или англо-французском *concept*.

Если верить немецкому историку Райнхарту Козеллеку, в ключевых понятиях Нового времени заложено — извините за неуклюжий каламбур — новое ощущение времени. Истина знаек маячит на горизонте ожидания, а не хранится в пространстве опыта: иными словами, эти понятия подразумевают, что будущее будет иным, чем прошлое. Новозаветное обещание о том, что «нет *ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано»* (Мф. 10:26) гуманист Эразм Роттердамский понимает не как конец времен, но приравнивает к афоризму «Истина — дитя времени» (*Veritas filia temporis*) из «Аттических ночей» античного эрудита Авла Геллия. Истина теперь связана с идеей исторического прогресса, множественностью, с вечным поиском и с теми, кто выходит на эту тропу охоты. На финальном отрезке пути в XX веке Андре Жид призывает нас верить «тому, кто ищет истину, и не доверять тем, кто ее нашел».

Сознание миссии осмысления мира сказывается в том, что интеллигент ощущает свою деятельность не только как профессию (*Beruf*), но как «призвание» (*Berufung*). Немецкого профессора и до сих пор «призывают на кафедру» точь-в-точь как протестантского проповедника. И глава Тринити-колледжа в Кембридже, к примеру, говорит в XVII веке о призвании (*vocation, calling*) в познании «тонких, глубоких, сложных и запутанных материй, недоступных для обычного наблюдения и восприятия». В этом смысле спасительная, моральная миссия нашей русской

интеллигенции — безусловная разновидность вполне общеевропейского тренда. У нас так же, как, впрочем, и у польской интеллигенции, эта миссия выглядела моральным обязательством перед народом, которое накладывает на образованного человека полученное им образование. Окончил университет? Будь любезен соответствовать, проходить поприще и быть служителем идеи.

«Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно <…> Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды, — говорит „черный монах“ у Чехова интеллигенту Коврину. И продолжает: — Истинное наслаждение в познании». Познание и творчество у интеллигенции превращается в едва ли не физиологическую потребность, постоянную жажду, неотделимую от эмоций и заставляющую вспомнить «похоть знания» (*libido sciendi*) блаженного Августина и «жадность к словесности» (*aviditas litterarum*) гуманистов Ренессанса. Флориан Знанецкий называет это *thrill* — кайф. Познание, повторимся, имеет в европейских языках и прямой греховно-эротический подтекст: «Позна же Адам Еву жену свою» (Быт. 4:25). Но главное — эрос познавательного вдохновения. «Я с головой окунулся в эту работу. Я испытывал радостное чувство творчества», — мог бы написать любой интеллигент. В данном же случае Ленин, стеснясь лирическим волненьем, работает над ремейком «Что делать?».

Следуя дальше словесной канве, в поисках, какие формы принимала интеллигентская миссия, мы

наткнемся на постоянную составляющую в терминах, обозначающих социальную роль «людей знания»: это «выражение» или «представительство». Репрезентация — способ мыслить мир опосредованно, в образах и отвлеченных категориях, тенями на стене платоновской пещеры познания. Поэтому *понятие, концепт* связаны с представлением, воображением, замыслом. Согласно мэтру Кембриджской школы истории понятий Квентину Скиннеру, *представительство/репрезентация* — «базовый концепт» в общественно-политическом языке Нового времени. Становление *публичной сферы* немецкого философа Юргена Хабермаса связано со сдвигом в Новое время смысла «представительности» от «авторитетности» к политическому значению *представительной* демократии.

После Средневековья с его телом короля как сакральным воплощением высшей власти на земле и абсолютизма, где королевская кровать представляет собой центр государства, власть многих требует определить, кто этих многих будет представлять. В отличие от государственной власти, которая апеллирует к традиционной сакральной символике и четким — в основном визуальным — образам, власть знания носит абстрактный характер. И представляемое, и представитель определяются здесь нормативно и отвлеченно. Отвлеченность скрывает парадокс принципа как такового: представлять действительным, наличным (ре-презентировать) нечто, что на самом деле таковым не является. Слово для этих целей подходит больше, чем образ.

Люди знания представляют абстрактные сообщества (государство, общество, народ, нацию, страну, класс, человечество) и универсальные ценности, меняется лишь форма и соотношение между «выразителем» и «выражаемым»: *писатель* и *общество*, *литература* и *публика*, *интеллигенция* и *народ*, *мозг, дух нации* и т. п. В нередком случае, когда выражать было нечего, надо было сначала вдохнуть жизнь. Тут требовались *просветители*, *будители сознания (*«разбудили Герцена»*)*, *сеятели на ниве* или, на худой конец, *«неполживцы»*.

В том же «Что делать?» Ленин еще не называл интеллигенцию нехорошим словом на букву «г», но писал, вполне по Марксу, что «образованные представители интеллигенции» должны «привнести» в рабочие массы «классовое сознание», которое и может быть «принесено только извне». К 1917 году это вызрело в «партию — ум, честь и совесть нашей эпохи». Другие «привносители сознания» в пролетариат писали еще откровенней: «До 1905 года, — делится с нами жена меньшевика Федора Дана Лидия, — мы представляли себя как „источник“ истории, все остальное нам представлялось как „материал“», который потом «вырос и стал независимым существом».

Примерно такое же открытие сделали для себя после 1917 года в отношении «материала» и прочие интеллигенты: «На что нам интеллигенция, теперь мы сами подросли, мало-помалу фамилию свою подписать можем», — заносит в 1929 году М. М. Пришвин в дневник подслушанную на уличном собрании

реплику. Но ничего специфически российского и тут нет. Сбрасывать самозваных представителей с парохода современности или сажать их (как минимум на «философские пароходы») призывали и до того. «Какой прок слушать философов (*philosophes*)? — шумел, скажем, по адресу французских просветителей поэт Андре Шенье в 1791-м, за три года до собственной казни. — Их представления о человечестве, свободе, праве — мечтания, в которые сами они ни капли не верят».

Вместе с материальным капиталом знание становится основанием для узаконенного, политического представительства. Конституции XIX века прописывают наряду с имущественным образовательный ценз выборщиков. Но еще более представительские функции знания оказываются востребованы там, где с представительством политическим есть проблемы. «Мы, — сокрушался Денис Иванович Фонвизин о России за год до Французской революции, — не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют <…> Какого рода и силы было бы российское витийство, если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих».

Развитие всех этих процессов можно видеть по переменам понятия «интеллигенции» (*intelligentia*). В глаголе *intel-lego* корень знаком многим по названию конструктора. Да-да, если очистить орешек интеллигенции до ядра, то в основе способность прочитывать мир и складывать его кирпичики в осмысленные

и понятные яркие конструкции. В самом начале, во времена неоплатоников Античности, «интеллигенция» — это способность к постижению истины и суждению отдельной личности. Постепенно начинают действовать классические для европейской культуры механизмы: антропоморфизации, то есть наделения свойствами человеческой личности социальных институтов, и трансляции, переноса личных свойств на общности.

«Интеллигенция» обозначает сначала коллективный разум, воплощенный в великих личностях. Словарь Французской академии начала XVIII века сообщает нам, что «под интеллигенцией (*intelligence*) в переносном смысле подразумеваются великие люди, обладающие выдающимися талантами и просвещением для управления» — подразумевая управление государством. Затем интеллигенция переносится на личность коллективную и общество. Разумность как главный признак жизни такого коллективного тела утверждается с переменой представления о самом обществе. В XVIII веке общество мыслится «чувствительно», его центр составляет, по аналогии с церковным собранием, экклесией, единый дух или *душа*. Эту душу может выражать государственное регулярство («порядок — душа общества»), политическая экономия («земледельцы суть душа обществу»), морализм («добродетель есть душа общества») — но в конечном итоге язык сохраняет лишь одно значение светского обхождения («герой префераанса или душа общества»).

С течением времени личность коллективная, как и просто личность, перестает мыслиться в категориях душевности: во второй половине XIX века — в России, похоже, для *интеллигенции* впервые в 1880-х годах у историка литературы С. А. Венгерова — появляется понятие *мозг нации*. И одновременно, перекрывая его масштабностью и направлением миссии, — *совесть нации*.

Общим разумом может быть множество, воплощенное в коллективных понятиях, как *философы* Просвещения, *интеллектуалы* XX века во Франции или *образованные сословия* XIX века в Германии. Но в эпоху, когда основным социальным проектом в Европе становится национальный, которому присущи иррациональные романтические мотивы, в этой роли утверждается воображаемое лицо в единственном числе (*persona ficta*). Появляются многочисленные варианты, формулирующие дух — ум, разум, гений — нации или народа, и мы получаем интеллигенцию в ее классическом виде.

Если политической миссией интеллигенции было представлять некую большую общность перед высшей инстанцией, властью и/или перед другими, чужими общностями (например, перед другими нациями), то в обратном направлении интеллигенция претендовала на роль посредника между этой инстанцией и массами. Уязвимость позиции предстоятеля и посредника не только в шаткости ее обоснования, но и в конкуренции с другими претендентами. Как традиционными элитами (дворянство, духовенство),

так и новыми (средний класс). Но также в том, что интеллигенция в реальности встроена в старый порядок, который критиковала, и в случае революции она обычно оказывалась в положении проигравшей.

Вместе с высшей разумностью понятие *интеллигенция* обозначает коммуникацию, согласие, сбор информации, как, к примеру, в *Central Intelligence Agency* (ЦРУ). И в русском языке наш основной термин появляется в петровское время именно в этом контексте, как «секретная интелигенция» (сначала с одним «л»). Так что, пойди история понятия другим путем, мы вполне могли бы иметь, скажем, «Федеральную службу интеллигенции» или «Главное интеллигентное управление». Но и без того момент коммуникации и согласования в «интеллигенции» ключевой. Интеллигенция занята производством, передачей и хранением информации, это главный «коммуникатор» (П. Б. Уваров) общества, а коммуникация — основа существования и развития современного общества.

Без общения социальная идентичность непредставима. Но в нашем случае мы имеем нечто особое. В отличие от крестьянина, священника или дворянина, у представителя интеллигенции нет материально-правовых оснований для самоопределения, и он практически никогда не говорил о себе «я интеллигент». Собственно, даже «мы, интеллигенция» из начального эпиграфа на самом деле встречается крайне редко. Один из многих парадоксов: идентичность человека, который считает себя эталоном автономии

и независимости, в наибольшей степени зависит от внешней оценки других людей знания. Отсюда ключевая роль сетей общения общеевропейской образованной публики — *res publica doctorum* (в русском лексиконе XVIII века «ученая» или «письменная республика»); академической мобильности, начиная со средневекового обычая «ученого паломничества» (*peregrinatio academica*), взаимной переписки, общей читательской аудитории, собраний, кружков. И в общем феномена «общественности», гражданского общества.

А далее, отцы и учители, рассуждаю так: если интеллигенция осознает себя коллективной разумной личностью, то будет правильным и изобразить ее историю как коллективный портрет в историческом интерьере, своего рода автобиографию. Рисовать коллективные портреты — задача для пишущей интеллигенции привычная: «Это, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека, а всего слоя в полном его развитии». Наш портрет будет портретом словесным.

Начнем с вопросов. Личные свидетельства представляют собой попытку ответить на вопросы, которые задает себе *Я*. Черты личности коллективной также определяют вопросы, начиная с вопросов о себе. Знайка — *homo postulans*, человек вопрошающий; его делает таковым любознательность и взятая на себя миссия ответить на главные вопросы. Всякая интеллигенция немыслима без того, что именуется в русском варианте «творческий непокой» или

во французском *l'inquiétude* — неуспокоенность, духовное странничество, постоянная жажда знаний. «Просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем», — задает норму жизни не что-нибудь, а «Духовный регламент» (1721) в России. А это значит — постоянная неопределенность. Стабильность, уверенность, покой для рыбок, живущих в мутной воде, смертельны.

Золотой век интеллигенции начинается с «Ответа на вопрос: что такое Просвещение?» Иммануила Канта (1784). Который, в свою очередь, определен кантовскими основными вопросами человека, познающего мир самостоятельно: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? и Что такое человек?

История русской интеллигенции, как мы помним, также размечена знаковыми вопросами, которыми она задавалась и которые задавала. Начиная с «Кто виноват?» А. И. Герцена (1846), «Когда же придет настоящий день?» Н. А. Добролюбова (1860), «Что нужно народу?» Н. П. Огарева (1861), далее — подсказывайте — правильно, «Что делать?» Чернышевского (1863) и к одноименному уже упомянутому ремейку Ленина (1902). Во все это время у нас в России, пишет Николай Михайловский, «поднялись длинной вереницей вопросы за вопросами»: крестьянский, земельный, балтийский, женский, еврейский, социальный и т. д. и т. п. Большинство со статусом «проклятых». Кстати сказать, последнее — германизм: «проклятые вопросы» появляются накануне Великих реформ как

перевод *die verdammten Fragen* Гейне из его цикла «К Лазарю» (1854). И сначала, у Салтыкова-Щедрина, к примеру, они еще закавычены. Интересно, что в русской версии таковые приобрели общественно-политический нюанс, тогда как в оригинале у Гейне речь о вопросах философских («Так мы спрашиваем жадно / Целый век, пока безмолвно / Не забьют нам рта землёю»; перев. М. Михайлова). У нас же за метафизику отвечают вопросы с предикатом «вечные» и «последние», которыми была так славна русская литература и за пределами своей национальной аудитории. Затем наступает черед вопросов практических: Как нам реорганизовать Рабкрин? А обустроить Россию? Пакет? Карта магазина? Наклейки собираете? И, постоянным рефреном, о себе самих: что такое (следующий вариант — что *же* такое, да что же это, наконец, такое и далее ad infinitum) — интеллигенция?